



№ 6	№ 3	№ 9
202	202	№ 12
5	5	202
		2024
№ 5	№ 2	№ 11
202	202	202
5	5	2024
		202
№ 4	№ 1	№ 10
202	202	2024
5	5	202
		2024



• [ГЛАВНАЯ](#)

- [РЕДАКЦИЯ](#)
- [КОНТАКТЫ](#)
- [СОЦ. СЕТИ](#)
- [ПОДПИСКА и РАСПРОСТРАНЕНИЕ](#)

- [ИСТОРИЯ ЖУРНАЛА](#)
- [АВТОРЫ](#)
- [НОВОСТИ](#)
- [ЛАУРЕАТЫ ЖУРНАЛА](#)
- [ПРОЕКТЫ](#)
- [АРХИВ](#)
- [АНОНС](#)
- [СВЕЖИЙ НОМЕР](#)
- [СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛОВ](#)
- [ГАЛЕРЕЯ](#)

- [ВХОД](#)

МЕМУАРЫ

Об авторе | Наталья Николаевна с (Чуковская) — микробиолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России.

Наталья Костюкова (Чуковская)

Далекие тридцатые

[Журнал «Знамя» 6, 2025](#)

Сейчас едва ли найдется человек, который мог бы описать жизнь семьи Чуковских в 30-е годы прошлого века. Попробую это сделать я — старшая внучка Корнея Ивановича и дочь Николая Корнеевича, называемая в то время Таткой. Родилась я в 1925 году и оказалась внучкой еще очень молодого деда — Корнею Ивановичу было всего 43 года. Помню отца и деда с конца 1920-х отрывочно, а в 1930-е уже достаточно четко. Семьи папы и деда жили врозь, хотя и очень тесно общались. Наша семья жила бедно

— Николай Корнеевич вставал на ноги сам. Такова была жизненная установка Корнея Ивановича, да и помогать-то ему было не с чего — на руках двое не самостоятельных пока детей (Боба и Лида) и маленький часто болеющий ребенок — Мурочка. Для заработка папа переводил книжки про Тарзана и Ната Пинкертон (мне их читать запрещали — дурной вкус!), сочинял собственные приключенческие романы («Танталэна», «Приключения профессора Зворыки», их я читала), но писал и небольшие повести с лихо закрученным сюжетом («Разноцветные моря», например). Эта работа не прошла впустую — уже к началу 1930-х вышли, одна за другой, повести о великих мореплавателях, впоследствии объединенные в книгу «Водители фрегатов», выдержавшую множество изданий. Кроме того, переводил с английского книги известных авторов — Стивенсона, Бичер-Стоу и других. Перед войной вышли его романы «Княжий угол» (о Гражданской войне) и «Ярославль» (о ярославском белогвардейском мятеже).

Впрочем, одна форма помощи отца сыну существовала — хлопоты в издательствах. Корней Иванович очень любил слово «хлопотать» и само это действие, чем беспрерывно занимался всю свою жизнь в отношении других людей. Были и профессиональные советы, иной раз — с жесткой требовательностью к писательскому труду сына. Дед никогда бы не стал «хлопотать» об издании слабых вещей Николая Корнеевича.

Так вот, жили мы втроем (мой папа, моя мама Марина Николаевна и я), а потом и вчетвером (в 1933 году родился мой брат Николай — Гуля) в Ленинграде, по соседству с деденькой и бабенькой, как я их называла с легкой руки моей няни Любы. Наш дом был на Надеждинской улице (ныне — улица Маяковского, 9), а дом старших Чуковских — в Манежном переулке: парадный вход в квартиру с Манежного, а «черный» — со двора, выходящего аркой на переулок Радищева. Квартира с балконом на третьем этаже занимала весь угол дома. Окна комнат выходили на оба переулка, из окон был виден Спасо-Преображенский собор, окруженный чугунными копиями и пушками, захваченными у турок в 1828–1829 годах. Угловую комнату с балконом занимали Мария Борисовна с Мурочкой, смежная, с камином, была кабинетом Корнея Ивановича. На полу в кабинете лежала шкура белого медведя, подбитая зеленым сукном, с зубастой головой и стеклянными карими глазами, а на отдельном столике стояло чудо — пишущая машинка, на которой мне не запрещалось печатать (и даже поощрялось!). Как это помогло мне впоследствии! Перед спальней бабеньки располагалась столовая, она же библиотека (незадолго до переезда в Москву Боба сам перегородил ее, получилась отдельная гостиная). Впрочем, книги стояли и в кабинете, и в столовой, и в гостиной. Были

еще три комнаты, где жили Боба и Лида, была еще «людская» — комната для прислуги, а также ванная — редкость по тем временам даже для бывшей столицы (в больших петербургских коммунальных квартирах ванны были обычно забиты хламом). С начала 1930-х годов квартира деда стала заполняться новыми домочадцами — членами семей его детей — Лидии Корнеевны и Бориса Корнеевича. Затем Лидия Корнеевна поменялась с Пыпиными и переехала, а в 1938 году Корней Иванович и Мария Борисовна навсегда перебрались в Москву.

Но вернемся в семью молодых Николая Корнеевича и Марины Николаевны. По выходным дням (отнюдь не воскресеньям) мы ходили к Корнею Ивановичу и Марии Борисовне обедать. Обед подавали в столовой. На обед обычно была курица. Собиралась вся семья. Однажды в полном составе после обеда отправились в мастерскую Моисея Соломоновича Наппельбаума и снялись. Одна из этих фотографий теперь помещена на форзаце первого тома «Дневника» Корнея Ивановича.

Однако обеды вскоре прекратились — НЭП кончился. Исчезли яркие витрины на Невском (тогда называвшемся проспектом 25 Октября) и Литейном (проспекте Володарского), заполненные всяческим вкусным товаром. В разговорах взрослых появились слова «карточки», «пак», «ордер» (на костюм, отрез, пальто), «справка», «кооперативная книжка», стол наш оскудел. Начались нехватки дров и керосина, а ленинградские дома не имели ни газа, ни центрального отопления. Получение (по ордеру) и заготовка дров, их хранение, доставка на этажи, топка печей были важнейшими атрибутами нашей тогдашней жизни; важной фигурой стал дворник (Иван Францевич в доме Корнея Ивановича и Пименов — в нашем). И очереди, очереди... Появились странные организации — ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых), ЛЕНКУБЛИТ (Ленинградская комиссия по улучшению быта литераторов). Корней Иванович был прикреплен к обеим, Николай Корнеевич — только к одной, ленинградской. Решения о прикреплениях и выдаче пайков принимали на общих собраниях. В это же время появились магазины Торгсина («торговля с иностранцами»), где за золотые и серебряные вещи, а также за валюту можно было купить иностранные товары.

Помню, как-то в начале 1930-х папа вышел из кабинета и сказал маме: «Я окончил роман». Я так и не знаю, какой. Может быть, «Собственность» или «Слава» (см. «Дневник» Корнея Ивановича, запись от 3 декабря 1931 года). Роман не приняли, и мы остались без пайка. По крайней мере, я так восприняла это событие. И хотя положение Корнея Ивановича было немного лучше, чем положение моего

папы, его сообщения в Крым в письмах к Марии Борисовне, находившейся около умирающей Мурочки, о благоденствии обоих семейств, были далеки от истины.

Улицы Ленинграда заполнились нищенствующими крестьянами в лаптях и домотканых одеждах, с малыми детьми. Их нещадно гоняли. Особенно меня волновали беспризорники, массами появившиеся в холодном и голодном городе, греющиеся у котлов и печей для таянья снега. Где-то в 1935–1936 годах положение стало улучшаться, толпы нищих исчезли, магазины начали заполняться скромными товарами. В конце 1930-х — начале 1940-х годов в связи с начавшейся Второй мировой войной жизнь опять стала хуже. И тогда появились магазины «Люкс», где было относительно много товаров, но очень дорогих.

Карточки отменили, однако развернулись и зацвели пышным цветом совсем другие трудности и связанные с этим события — знаменитый 1937 год. Среди наших друзей оказались арестованные — «враги народа». Хорошо помню Валентина Осиповича Стенича (Сметанича) и Юлия Соломоновича Берзина. Стенич был высокий, статный, красивый мужчина, всегда модно одетый. Его считали русским денди (в 1950-х называли бы стилигой). Изначально он был поэтом, но, в основном, стал широко известен как переводчик современной англо-американской литературы (например, романы Джона Дос Пассоса «42-я параллель», «1919» и «Манхэттен»). Он часто заходил к нам под вечер и оставался ненадолго после того, как родители укладывали нас спать и куда-нибудь уходили (например, в гости или в Дом кино, клуб писателей). Стенич задерживался для того, чтобы позвонить по телефону (там, где он жил, телефона не было) и назначить свидание своей будущей жене Любе на Невском, недалеко от нас. Когда же в отношениях моих родителей возник кризис (отец собрался уходить, невзирая на то, что мама тогда была беременна), Стенич буквально переселился к нам, уговаривал папу, блокировал его телефонную связь с «этой дамой» и одновременно поддерживал маму. Брак был сохранен. После рождения моего брата Гули (Николая) они начали заново семейную жизнь. Я, как не спасшая их брак, отошла на задний план — на попечение бабеньки (матери мамы), Иники (сестры мамы) и домработницы.

Юлий Соломонович Берзин тоже был частым гостем моих родителей. Это был невысокий курчавый человек в больших очках, очень застенчивый. Если на Стенича могли написать донос завистники (завидовать было чему), то я не представляю себе, кому мог досадить этот скромный писатель. Берзин написал несколько романов (например, «Форд», «Возвращение на Итаку»), но книги его были

быстро изъяты из библиотек и магазинов, и он практически оказался неизвестен нашему читателю.

Еще одним частым гостем нашей семьи в это время был Бенедикт Константинович Лившиц. Как потом выяснится, его расстреляют в один день вместе со Стеничем. Бенедикт Константинович был почти ровесником моего деда и был с ним хорошо знаком. Известна фотография Буллы, где Лившиц, уходящий на фронт Первой мировой войны (кажется, добровольцем), снят вместе с Осипом Мандельштамом, Корнеем Чуковским и Юрием Анненковым. Я помню Бенедикта Константиновича, живущего неподалеку (Басков переулоч, дом 19) и часто запросто приходившего к нам вместе с женой и с сыном Кикой (Кириллом), моим ровесником. О Лившице — поэте и переводчике, известно много, а вот о Кике я хочу рассказать. Примерно лет до одиннадцати-двенадцати во время приходов Лившицев мы играли, он читал много книг, которые мне не давали. Кика пересказывал мне какую-то приключенческую повесть о жизни в Бразилии или Аргентине. Затем отношения наши изменились, его почему-то перестали приводить. Но однажды, когда я, как обычно, шла вечером по плохо освещенному Баскову переулочу от своей подруги Гали, из подворотни его дома вдруг раздались приглушенные крики: «Татка идет!», — и в своде арки в темноте появилось чудовище — шарообразная арбузная корка с вырезанными глазами и зубастым ртом на горящем факеле. Это Кика и его друзья придумали, чтобы меня испугать. Кика не был ухоженным интеллигентским ребенком, он был постоянным обитателем двора и, вероятно, вожак — крупный и рослый для своего возраста мальчик, эдакий богатырь. В 1937 году его отца, а затем и мать арестовали. Кика перешел в ремесленное училище. Перед войной умерла бабушка, он остался совсем один. Осенью 1941 года, в блокаде, Кика ухитрился прибавить себе два года (внешне он вполне соответствовал восемнадцатилетнему) и ушел на фронт. Имя его — как погибшего в Сталинградской битве — высечено на стене Зала воинской славы на Мамаевом кургане рядом с тысячами других имен, есть оно и на обелиске в честь погибших матросов небольшого военного речного судна.

Частым гостем был писатель Леонид Иванович Добычин — человек со странной и трагической судьбой. Он приходил запросто, почти ежедневно, необязательно вечером, и даже часто оставался у нас, когда родители почему-либо уходили из дома. Пытался рассказывать нам с братом сказки, но они у него не получались. После неудачи с романом «Город Эн» он пропал, оставив письмо Николаю Корнеевичу. Вся эта печальная история описана в мемуарах моего отца и моей матери. После долгих неудачных розысков пришли к мысли,

что он добровольно ушел из жизни.

Дружили семьями с Вениамином Александровичем Кавериним, Евгением Львовичем Шварцем (он был моим крестным отцом), Михаилом Леонидовичем Слонимским, Леонидом Николаевичем Рахмановым, Сергеем Адамовичем Колбасьевым (репрессирован), Еленой Михайловной Тагер (также репрессирована). Заходил молодой поэт Александр Решетов, бывал у нас и писатель Георгий Ку克林 (репрессирован).

Но встречи с писателями обычно происходили по вечерам, за чайным столом, а днем папа работал, не признавая выходных, и выходил из дома только «по делам» (он так говорил), то есть в издательства. Он водил меня в Русский музей, подробно рассказывая о многих картинах. Любил почитать мне вечером перед ужином. Так, прочел он мне «Руслана и Людмилу», «Мороз, красный нос», множество других поэм и стихотворений, наслаждаясь при этом сам. Прочитал «Ревизора», «Как поссорился Иван Иванович...» с пояснениями. Однажды не выдержал — прочел «Полтаву», в которой я, семилетняя, ничего не поняла, но он был счастлив. Следил за моим самостоятельным чтением, выдавая мне книги из своей библиотеки, а про некоторые (например, «Юность» Льва Толстого) говорил, что мне еще рано их читать. В остальные вопросы моего воспитания папа не вмешивался.

Но вернемся в начало 1930-х. До болезни Мурочки, то есть до 1929–1930 годов, нас с ней часто соединяли. Мы вместе гуляли, играли в ее великолепные игрушки, часть которых потом перешла ко мне. Перешла ко мне и ее няня Люба, обожаемая мною, а Мурочке взяли воспитательницу. В моей памяти Мурочка осталась «старшей сестрой», непререкаемой и неповторимой. Судя по всему, она действительно была очень одаренным ребенком. Но Мурочка с раннего детства часто болела, а в девять лет у нее начался костный туберкулез с быстро прогрессирующей диссеминацией... Ее увезли в Крым. Сейчас, с высоты прошедших десятилетий, кажется, что Корней Иванович и Мария Борисовна совершили ошибку, оставив Мурочку в холодном и ветреном Крыму (февраль-март), в переполненном «богоугодном заведении» (в санатории, описанном в книге «Солнечная»), в сырости и в холоде, на полуголодном пайке, с регламентированной материнской лаской три раза в месяц. Только неистребимым оптимизмом деда, да еще его наивной верой во всемогущество медицины можно объяснить это решение. Дома, в Питере, несмотря на все трудности, Мурочке создали бы хорошие условия, она была бы в тепле и в окружении дорогих ей людей. Едва ли это спасло или продлило бы ей жизнь, но страдания Мурочки и страдания ее близких были бы хоть немного

смягчены... Впрочем, летом 1931 года, за несколько месяцев до гибели, ее все-таки забрали из санатория в дом, снятый в Алушке. Туда прибыл Корней Иванович, ненадолго приехали и мои родители со мной. Мурочка была уже очень плоха, и мне ее не показывали. В ноябре ее не стало. Может быть, из нее вышел бы настоящий поэт, этому способствовала вся атмосфера жизни семьи Чуковских.

Вообще из всех искусств Корней Иванович и его дети больше всего любили поэзию. Николай Корнеевич и Лидия Корнеевна впоследствии профессионально занимались поэзией, но и Борис Корнеевич (Боба) — технократ и спортсмен — тоже любил и понимал стихи. От него я впервые услышала русские былины, которые он знал наизусть. Помню, как, придя вечером к нам, усталый, лег на диван и почитал на память «Необычайное приключение...» Маяковского. А как-то взял с полки томик Алексея Константиновича Толстого и дивно прочитал «Сон Попова».

Впрочем, брать поэтические сборники с полки (благо в обеих квартирах полки с книгами хватало) было любимейшим занятием и Корнея Ивановича. Придет навестить нас, возьмет наугад томик и читает нам стоя, наслаждаясь. Но, пожалуй, брал он все-таки не наугад, а с тайным умыслом — выбирал такие стихи, которые мы не проходили в школе; любил вытаскивать поэтов, непопулярных в то время. Я помню строки Ивана Петровича Мятлева: «Омнибус, как арбуз, весь набит до верха...», помню стихи Василия Степановича Курочкина, переводы из Гейне...

Борис Корнеевич был похож на своего отца, но читал стихи совсем иначе — отрешенно, ритмично. Пользуясь возможностью, хочу побольше сказать о нем. Борис Корнеевич занимался моим воспитанием не меньше, чем мои родители, и я вспоминаю его как очень родного и дорогого человека. Он научил меня грести, ходить на лыжах, плавать, играл со мной в различные «развивающие» игры, давал разные задачи, ребусы, учил правильному русскому языку, разбирал со мной законы физики... Человек он был гармоничный — рослый, красивый, спортивный, не пил и не курил. Не могу себе представить его в костюме и «при галстук», он ходил в спортивной одежде (по тогдашним понятиям) — свитерах, куртках, любил русские рубахи-косоворотки. Вместе со своим другом Женей Штейманом занимался лодочным спортом, увлекался велосипедом (это было почти как автомобиль сейчас). Велосипед и сгубил его друга — Женя попал под грузовик на одной из ленинградских улиц.

Формально Борис Корнеевич был далек от литературных интересов, но, повторяю, знал и глубоко понимал поэзию.

По образованию он был инженер-гидростроитель, проектировал и строил гидросооружения, столь востребованные в то время. С детства помню слова «Свирьстрой», «Волховстрой», связанные у меня с образом Бобы. В 1930-е работал на трассе будущего канала Москва — Волга. Когда началась война, как рассказывала мне моя бабенька Мария Борисовна, Борис Корнеевич был назначен на строительство гидрологических оборонных сооружений вокруг Москвы и освобожден от призыва в действующую армию. Но в июле 1941-го он вступил в Московское ополчение. Армии не боялся, служил по призыву еще в мирное время, часто с юмором рассказывал о службе. Боба знал, что будет война, и понимал, что ему предстоит в ней участвовать, о чем часто говорил мне. Говорил спокойно, трезво, буднично... Одно из его фронтовых писем (август 1941 года) сохранилось. Борис Корнеевич утешает родителей тем, что находится на свежем воздухе. Один из его однополчан рассказывал потом, что Бобу как гидростроителя привлекали к восстановлению разрушенных мостов через подмосковные речки. Позднее Мария Борисовна рассказывала, что в конце сентября 1941-го они с Корнеем Ивановичем ездили в школу младших лейтенантов, находившуюся неподалеку от Волоколамского шоссе, куда взяли Бобу из ополчения. Говорили с начальником школы, который обещал отпустить Бориса Корнеевича для операции грыжи, но осуществить это не удалось. Видно, бросили будущих младших лейтенантов на защиту Москвы. Последнее письмо от него датировано 7 октября 1941 года, а 15 октября Корней Иванович и Мария Борисовна покинули Москву. Мой дед вел поиски Бобы через всякие высокие инстанции, даже через Международный Красный Крест. Безуспешно.

...Война начнется только через три года. А пока Корней Иванович и Мария Борисовна живут в Москве. Борис Корнеевич тоже собирается туда и переедет, кажется, в 1939 году вместе с двухлетним сыном Женей. (Пользуясь случаем скажу, что Женя стал известным кино- и телеоператором и в последние годы жизни, а это 1995–1997-й, работал в телепрограмме «Вести».) Мать Жени, первая жена Бобы, то отдавала ему сына, то требовала немедленно вернуть его, и мой папа ехал за ним в Москву. Забегая вперед, скажу, что в начале войны Женя был опять у Бобы и уже не вернулся к матери. Впоследствии Корней Иванович и Мария Борисовна усыновили его.

После переезда моего деда в Москву обмен письмами между отцом и сыном не прерывается. Более того, Корней Иванович часто навещает в Ленинград и пишет оттуда Марии Борисовне в столицу. В один из своих приездов (в ноябре 1940 года) дед посетил мою школу. Первый раз он приходил ко мне в четвертом классе, на какой-то экзамен,

но я ничего не помню. А этот приход в девятом классе я помню хорошо. Учительница литературы была предупреждена (Корней Иванович велел мне сказать директору, что собирается к нам, и я, дико стесняясь, вела переговоры о времени его прихода). По литературе в это время мы проходили «Обломова». Учительница велела нам подготовить устное сочинение «Обломов и Штольц: что у них общего и в чем различия?». Корней Иванович пришел. Во время перемены гулял по коридору с нашим завучем (тоже учителем литературы). На уроке слушал детей недолго, рассказал нам, как не ладил Гончаров с Тургеневым, как не любил Тургенева и подозревал его в краже своих рукописей. Потом дед прочитал свои стихи о медведе. Звонок спас меня от невероятного смущения — я боялась, что он начнет говорить с моими соучениками, они плохо ответят — как я буду потом смотреть им в глаза? Но все прошло благополучно. О своих впечатлениях при посещении школы он мне ничего не сказал и скоро уехал в Москву.

Корней Иванович вел переписку не только со своими детьми, но и с нами, внуками. Одно письмо моего брата Гули помещено в «Чукоккале» (с. 461 рукописного текста издания 1997 года) и упоминается в письме деда (№ 82 от 23 марта 1939 года). Гуле шесть лет. Комментирую его письмо. Кира, пять лет, друг Гули — племянник Даниила Хармса, живущего в соседнем доме (где и Кира). «Истерика» — это меня ругает за что-то мама, а я реву. Володя — сосед-электромонтер (ведь в столовой все время «тушится лампа»). Фафашка — детский педальный автомобиль. Письмо напечатано на пишущей машинке, поэтому среди грамматических ошибок есть и опечатки. Кажется, это та самая машинка «Империял» с латинским шрифтом, которую хотели продать в 1931 году, потом ее шрифт переделали на русский и дед отдал ее Николаю Корнеевичу; она жива в моей семье и поныне.

Мне еще хочется написать об «Артеке», который Корней Иванович назвал самым счастливым местом на земном шаре. Он, как почетный пионер, два лета подряд (в 1936 и 1937 годах) доставал мне туда путевки, ввергая меня в тяжелейшие душевные муки. Дело в том, что из пионерских газет и журналов я знала, что в «Артек» посылают выдающихся детей, совершивших какой-нибудь героический поступок, лауреатов международных конкурсов, сверхотличников. Это была правда. Но не вся. Когда я оказалась в группе ленинградских пионеров, отправляющихся в «Артек» (человек 10–12), чувствовала себя крайне неловко. Я считала, что была единственной, кто ехал туда не за свои заслуги. Ехал деревенский мальчик Леша Фадеев, награжденный орденом «Знак почета» за то, что вырастил колхозных телят. Ехали девочки из рабочих

семей — «вожатые» октябрят, возившиеся с малышами и умудрившиеся учиться на круглое «отлично». К чести этих детей, никто не упрекнул меня; напротив, частичка их уважения к Корнею Ивановичу перепала и мне (что еще больше уязвляло). Но ленинградцы оказались скорее исключением (я много раз потом убеждалась в «исключительности» довоенных ленинградцев во многих сферах жизни). Действительно, среди отдыхающих были дети — лауреаты международных конкурсов музыкантов-исполнителей — Буся (Борис) Гольдштейн, Миша Фихтенгольц и другие. Помню белорусскую девочку Ванду, которая заметила подозрительного человека недалеко от государственной границы, оказавшегося диверсантом. Были дети, увидевшие поломки железнодорожных рельсов и предотвратившие крушения поездов. Но этих детей не было в столичных делегациях. Попад в лагерь, я была уверена, что все артековцы — необыкновенные дети, то есть герои, отличники, подобные моим землякам-ленинградцам. Поэтому, познакомившись с кем-нибудь из пионеров, я стремилась узнать, «за что» он попал в «Артек». И ни разу не наткнулась на героя или отличника. Большинство детей не понимало, о чем я спрашиваю. Многие отвечали, что путевку дали папе на работе. Когда я спрашивала, кем их папы работают, то оказалось, что у многих папы — какие-то секретари. Что такое секретарь, я знала — у Корнея Ивановича были секретари, они печатали на машинке, занимались его бумагами, ездили по издательствам. Но почему в «Артеке» так много секретарских детей? Уже взрослой я поняла, что это были секретари видных партийных организаций — обкомов, горкомов и так далее. Особенно «важными» были дети из Киева и Москвы. Правда, среди московских пионеров были дети летчиков — Героев Советского Союза (например, Валя Молоков, Игорь Чкалов). Справедливости ради стоит сказать, что многие из детей начальства, вернувшись домой в августе 1937 года, уже не застали родителей — они были арестованы. Хочется вспомнить добрым словом Светлану Халатову — скромную девочку с открытым и милым характером. Имя ее папы часто упоминается в «Дневнике» и письмах Корнея Ивановича — он был видным партийным организатором и, в частности, занимал должность председателя правления Госиздата и ОГИЗа. Судьба Артемия Багратовича Халатова была печальна — он был репрессирован и расстрелян.

Все дети вели себя в «Артеке» прекрасно — мы были невероятно «заорганизованы», у нас не было ни секунды свободного времени. Бесконечные линейки, спортивные занятия, разучивание танцев и песен к предстоящим выступлениям, кружки, военные игры, экскурсии, кормление каждые два часа. Да еще купание и загорание по свистку на пляже под наблюдением врача (свисток — все повернулись на правый бок, свисток — все повернулись на

левый бок). За то, что я не прибавила в весе, меня наказали — лишили экскурсии в Севастополь. Дети, конечно, не отдыхали, но проводили время с несомненной пользой. Я выучила азбуку Морзе, научилась фотографировать, разучила кучу народных танцев и гимнастических упражнений, узнала прибрежный Крым и привезла домой гербарий и коллекцию камней. Я оказалась день в день ровесницей «Артека», он был основан летом 1925 года. День рождения «Артека» отмечался очень торжественно грандиозным выступлением детей на Костровой площади. Это была огромная прибрежная площадь с встроенным в гору амфитеатром. К празднику готовились сразу с момента прибытия детей в «Артек». О моей скромной персоне никто бы не узнал, если бы не телеграмма Корнея Ивановича. В 1937 году он прислал мне: «Привет тебе, Эльвира, от Деда Мойдодыра!» Естественно, лагерное начальство читало телеграммы, приходившие детям. Моя телеграмма была прочитана вслух на отрядной линейке, где мы стояли по росту, и я принимала поздравления. Был даже испечен торт с надписью «Наташе — ровеснице “Артека”». Но почему Эльвира? «Это твое настоящее имя?» — спрашивали меня. Приходилось объяснять, что это — прозвище (данное мне моей насмешливой мамой за детскую неуклюжесть). А какие концерты давали нам заезжие артисты на этой площадке! Как много детских фильмов мы посмотрели!

Но при всем этом — очереди в уборную «вокзального» типа, засыпанную тоннами хлорки, отсутствие какой-либо сносной умывалки (умывальники, как в солдатских лагерях, стояли прямо на улице), баня всего два раза за 45 дней! Были, конечно, и насекомые. Короче говоря, я просила родных не посылать меня в «Артек» во второй раз, но тщетно: взрослые лучше знают, что нужно детям.

30 ноября 1939 года началась Финская война. Папу сразу призвали — он получил звание интенданта 2-го ранга и стал корреспондентом военных газет, иногда навещаясь в темный холодный Ленинград. В Ленинграде война очень ощущалась — ввели затемнение окон, появились длиннейшие очереди за элементарными продуктами (сахаром, например), усложнилось добывание дров. Зима 1939–1940 годов, как известно, была исключительно холодной. В Ленинграде температура держалась не выше минус 20 градусов, падая иногда до 30 и даже до 40. Чтобы экономить дрова, нашу 35-метровую комнату с переделанным камином «законсервировали», а мы с мамой и братом стали спать в опустевшем папином кабинете. По городу потянулись бесконечные колонны красноармейцев, направляющиеся на фронт, благо он был рядом. В некоторых школах разместили госпитали, и учеников переводили в соседние школы. Мою школу оставили, но в нее перешли несколько классов из закрывшейся школы, из-

за чего наши старшие классы, в том числе и мой восьмой, перевели в третью смену с 17 часов. Классных помещений не хватало; мы, например, по всем предметам занимались в кабинете химии. Так как теперь по утрам я не торопилась в школу, меня часто использовали для занимания и поддержания бесконечных очередей за продуктами, на улице, конечно. «Хвосты» возникали вдоль кварталов, нередко загибаясь за угол.

В марте 1940 года, после победы над Финляндией, по городу потянулись войска в обратном направлении. Их дружно приветствовали стоящие на тротуарах ленинградцы.

Финская война кончилась, но продолжала бушевать война в Европе. Окружающие меня взрослые говорили о неизбежности войны и для СССР, не вполне представляя себе, на чьей же стороне мы будем воевать. Гитлеру не верили, называли его «наш заклятый друг» (если кто не помнит, в 1939 году СССР заключил с фашистской Германией пакт о ненападении). Но все-таки 22 июня 1941 года оказалось неожиданным даже для самых ярких скептиков. К этому времени волна репрессий помаленьку стихла. Люди разъезжались в отпуска, на дачи, на курорты. А вдоль всей огромной западной границы уже стояли гитлеровские войска¹...

1 О годах войны Наталья Николаевна Костюкова (Чуковская) рассказывает в № 5 «Знамени» за этот год. — *Прим. ред.*

[Пользовательское соглашение](#) [Политика конфиденциальности персональных данных](#)

[Условия покупки электронных версий журнала](#)